

Его называли магом, колдуном. Собратья по перу и бесчисленные поклонники, а особенно поклонницы искренне верили, что Брюсов «ест на завтрак засахаренные фиалки, по ночам рыскает по кладбищам, а днём, как фавн, резвится с козочками на несуществующих московских пастбищах». Спирит, медиум, вождь, предводитель по натуре, он казалось, знал то, что не дано знать простому смертному. И многие его знакомые всерьёз считали, что Брюсов заключил союз с потусторонней силой, и отнюдь не светлой, разумеется. Его побаивались, женщины – боготворили.

Валерий Брюсов родился в Москве. Он происходил из купеческой семьи. Его дед был крепостным помещика Брюса в его поместье в Костроме. В 1859 году он выкупил себя и поселился в Москве, занялся коммерцией и приобрёл дом на Цветном бульваре. Именно в этом доме Валерий Брюсов и появился на свет 13 декабря 1873 года, там он прожил практически до революции 1917 года. Отец Брюсова воспитанием сына занимался мало, его основным увлечением были скачки, он просадил всё состояние на тотализаторе. С ранних лет Брюсов был предоставлен самому себе, родители мало занимались его воспитанием. В доме практически было запрещено религиозное воспитание. Напротив, большое внимание уделялось прин-



Валерий Брюсов. Портрет работы С.В. Малютина

ципам материализма и атеизма. Сам Брюсов вспоминал: «Меня усердно оберегали от всякой “чертовщины”, от сказок. Зато много говорили об идеях Дарвина, его теорию я узнал раньше, чем научился умножать». Однако круг чтения не ограничивался, мальчик буквально глотал книги – от литературы по естествознанию до французских бульварных романов, «всё, что под руку попадалось», как сам он выражался. Будущий поэт получил хорошее классическое образование. Он учился в двух частных гимназиях, в последние годы обучения серьёзно занимался математикой.

С юных лет Валерий знал, что станет поэтом. Ещё в гимназии Креймана он сочинял стихи и занимался изданием рукописного журнала. В отрочестве кумиром Брюсова был Некрасов, позднее он увлёкся поэзией французских символистов. Он вспоминал: «Знакомство с поэзией Верлена, Маларме, а затем и Бодлера, открыло мне новый мир. Под впечатлением их творчества я начал писать стихи, которые впервые были опубликованы». В 1893 году Брюсов видит своё предназначение в том, чтобы распространять символизм и считает себя одним из его основоположников в России. Восхищаясь Верленом, Брюсов пишет драму «Декаденты. Конец столетия». Он повествует о недолгом счастье поэта с Матильдой Моте и описывает непростые отношения Верлена с Артюром Рембо. Однако статьи Брюсова о французских символистах большого резонанса не имели, его собственные поэтические произведения в литературной среде считались «этакими коленцами», по выражению С.А. Венгерова.

В 1893 году Брюсов поступает на историко-философский факультет Московского университета. Он всё также увлечен историей, философией, литературой, изучает языки. В 1895 году он опубликовал сборник стихотворений «Chefs d'oeuvre» («Шедевры»), который немедленно вызвал нападки читающей публики и критиков. Главная идея сборника – борьба со старым, дряхлым, отжившим миром патриархального купечества и желание уйти в новый мир, рисовавшийся в произведениях французских символистов, – понимания не встретила. Отрешённость от внешнего мира, принцип «чистого искусства для искусства», характерные для всего творчества Брюсова в дальнейшем, ярко проявились в сборнике и вызвали осуждение. «Одинокий мечтатель», Брюсов равнодушен к мирской суете, его не волнуют «низкие» страсти человеческого сердца. Его желание оторваться от мира доходит до самоубийства, и эта тенденция становится определяющей. Позднее Брюсов будет весьма активно пропагандировать эти убеж-

дения среди своих поклонников, особенно поклонниц, что станет причиной нескольких трагедий. Как отмечает Б.А. Аверин, «с самых первых сборников становится ясной связь Брюсова с Жуковским, который позднее станет его кумиром. Бюст Жуковского будет украшать кабинет Брюсова, его художественный мир очень близок начинающему поэту». Сам Брюсов в эти годы оценивает себя без ложной скромности. «Моя юность, – записывает он в дневнике, – это юность гения. Я живу и поступаю так, что оправдать моё поведение могут только великие деяния». В предисловии к книге он особенно отмечает, что не ждёт признания от современности, завещая книгу «даже не человечеству, а вечности и искусству».

В 1899 году Брюсов окончил университет и целиком посвятил себя литературе. Он поступает на работу в журнал П.И. Бартенева «Русский архив», знакомится с К.Д. Бальмонтом, их дружба, начавшаяся в 1895 году, не прекратится до эмиграции Бальмонта. Совместно с С.А. Поляковым основывает издательство «Скорпион», объединяющее сторонников «нового искусства». Постепенно Брюсов занимает значительное место среди литераторов своего круга, его сборники выходят один за другим и пользуются популярностью у интеллигенции, всё больше отрывающейся от реальности, ищущей ответы в мистике, в символизме. У Брюсова появляются поклонники, а главное – поклонницы, они боготворят мэтра.

Ещё в студенческие годы в 1897 году Брюсов женился на Иоанне Рунт. Она происходила из обрусевшей чешской семьи и служила в доме Брюсова гувернанткой его сестёр. Маленькая, хрупкая Иоанна Матвеевна была талантливой переводчицей с французского, пробовала писать стихи. Иоанна оставалась с Брюсовым до конца его жизни. С 1924 года после смерти поэта она вела его архив, занималась переизданием произведений. Но не она осталась в истории литературы главной «музой» поэта, его вдохновительницей. Это почётное место Иоанне Матвеевне пришлось уступить другой женщине. «Печальной незнакомке» с мистической, трагической судьбой – поэтессе Нине Петровской. Именно ей Валерий Брюсов посвятил свои главные произведения.

Вообще, донжуанский список Валерия Брюсова был огромен. Он легко соблазнял женщин и также легко, бестрепетно с ними расставался. Кроме того, за ним закрепилась слава весьма «опасного соблазнителя», знакомство с которым могло не только разбить сердце, но даже привести к смерти, и тому находились реаль-

ные подтверждения. Первая возлюбленная Брюсова, с которой он был знаком ещё в студенческие годы, Елена Краскова, скончалась от чёрной оспы вскоре после того, как они расстались. Женщинам, которых он когда-то любил, Брюсов посвятил замечательный по изысканности венок сонетов «Роковой ряд». Такая форма – одна из труднейших, и далеко не каждому удаётся справиться с ней. Брюсову потребовалось всего семь часов, чтобы в один день написать пятнадцать сонетов, составляющих венок – по полчаса на сонет. И все они великолепны. В этом «роковом ряду» он вспомнил и привязанности ранней молодости, и увлечения более поздних лет, но не раскрыл имена, зашифровав их. Только в одном случае адресата определить легко. В рукописи восьмого сонета поэт собственной рукой написал имя этой женщины – Нина. И сказал о ней так, как ни об одной из своих возлюбленных, не до неё, не после. «Ты слаще смерти, ты желанней яда, околдовала мой свободный дух!».

«О Нине Ивановне Петровской нельзя было сказать, что она красива, скорее она была милой, – вспоминал Блок. – А ещё она была, как говорили в пушкинские времена, “чувствительной”, хотя довольно умна».

«Она казалась неземной, уязвимой, – вспоминал в книге “Некрополь” литературный соратник Брюсова поэт В.Ф. Ходасевич. – Я видел её доброй и злой, податливой и упрямой, трусливой и смелой, послушной и своевольной. Она не чувствовала граней, во всём хотела доходить до конца. Всё или ничего – вот был её девиз. Увы, это её и сгубило. Нина не проживала жизнь – играла её. Она сделала из жизни бесконечный трепет. Искусней и решительней других создала она “поэму своей жизни”, к чему тогда стремились многие».

Нина Петровская удивительно соответствовала времени. Она словно выражала собой эпоху. Всё или ничего – это был девиз времени. Можно служить хоть Богу, хоть дьяволу, главное идти до конца, и тогда ты придёшь к свету. Нина Петровская никогда не признавалась, сколько ей на самом деле лет – старалась сохранять загадочность, это было частью образа. Но, как пишет Ходасевич, «скорее всего, она роди-



Нина Петровская

лась около 1880 года, окончила гимназию, затем зубоврачебные курсы. Была невестой одного, вышла замуж за другого». Этим другим оказался владелец издательства «Гриф» С.А. Соколов (Кречетов). Замужество дало Нине возможность войти в круг ведущих литераторов того времени. Хозяйка литературного салона, она играла заметную роль в богемной жизни. «Она томилась одиноким, нереализованным бытием, – вспоминал Ходасевич, – не зная ни цели его, ни смысла». Ответы, как водится, искала в книгах, отдавая предпочтение поэзии символистов и наставлениям по оккультизму. Один из столпов русского декадентства Минский так охарактеризовал подобное состояние духа: «Тоска неясная о чём-то неземном, куда-то смутные стремленья, вражда тому, что есть, предчувствий робкий свет и жажда жгучая святынь, которых нет». Нина и сама записывала в дневнике: «Пустынность – вот точное описание того, что я чувствую. Уйду в сумерках. Куда? Зачем? Всё равно. Встречу... Кого? Не знаю. Что будет за этой встречей? Тоже не знаю. Пусть будет всё, что угодно». «Она нашла себя, только очутившись среди символистов», – отмечает Ходасевич. – «Это была её стихия».

Ещё до знакомства с Брюсовым Нина боготворила его. Она знала наизусть все его ранние стихи. Его книги были для неё святынями, и она даже оскорблялась, когда гости, приходя к ней в дом, брали их с полки, чтобы посмотреть. К моменту знакомства с Брюсовым Нина переживает бурный роман с другим «гением декадентства» – поэтом Андреем Белым. «Странная и прекрасная голова, голубовато-прозрачное лицо, нимб золотых рассыпанных волос вокруг непомерно большого лба, – писала Нина позднее о возлюбленном, – для всех нас он воплощал собой лучшую поэтическую мечту о несказанном». Поиск невыразимого и несказанного, желание прорвать завесу между невоплощённым и воплощаемым – такую задачу ставили символисты, жизнь и творчество сливались для них воедино, одно происходило из другого, всяческий рационализм отвергался.

В 1904 году Андрей Белый был ещё молод, голубоглаз и в высшей степени привлекателен. Он обладал обаянием, «всё как будто менялось в его присутствии, – вспоминала Нина, – все были немножечко в него влюблены, независимо от пола. Мне помнится один вечер, угли дотлевали в печке. Лицо Белого тоскующее прорисовывалось в полутьме. Он говорил: “Скоро наступят строгие, пышные дни, дни гармонии”. Я спросила шёпотом: “Где же это? Когда?” Он не ответил. Я молчала. Мне представлялись белые

холодные залы, белые цветы, истекающие белыми слезами, непорочные свечи. Тайнство служения новому Христу. Да, многие тогда считали Белого новым Христом и восхищались его проповедями. Я тоже поклонялась и восхищалась. Он был для меня пророком. Пророком, ведущим от Тьмы к Свету, посвящённым в страшные мистические тайны».

Однако земное чувство Нины, её глубокая привязанность, особенности её характера тяготили Белого. Он совсем не желал «увязнуть в дрязгах земной любви». «Раздвоенная, больная, истерзанная жизнью, с отчётливым психопатизмом, она нередко впадала в религиозную экзальтацию, – так писал о Нине ее возлюбленный. – Грустная, нежная, доверчивая, она полностью отдавалась словам, которые слышала».

Увы, Нина не оценила того, что проповедь Белого была лишь способом привлечь её, соблазнить, добиться близости, он вовсе не чувствовал того, что проповедовал. Когда же сближение произошло, и цель была достигнута, Андрей Белый ... бежал. И от Нины, и из Москвы. «Если бы он просто разлюбил или изменил, – писал впоследствии Ходасевич, – но он сбежал от соблазна, испугавшись замарать свой идеал, свой сокровенный мистический опыт, чтобы слишком земная любовь не пятнала его чистых риз».

А к Нине стали ходить чередой друзья Белого, упрекая её, что своими чувствами она «осквернила пророка». Нина была в отчаянии, она искала защиты, опоры и неожиданно нашла всё это... в Брюсове. Именно после разрыва Нины с Андреем Белым началось их сближение. «Он ворвался в мою жизнь, как шквал», – вспоминала Нина.

Брюсов был старше Нины на одиннадцать лет, его уже всерьёз именовали «отцом русского символизма», его имя гремело по всей России. Впервые они встретились в гостиной у общих знакомых, где собирались символисты. Брюсов – всеобщий кумир, его считали, едва ли не «верховным жрецом декадентства».

Для Нины же он был небожителем, она знала наизусть его стихи, но до этой встречи видела его только на портрете. «Меня поражали его пламенные глаза, резкая горизонтальная морщина на переносье, высокий взлёт мефистофельски сросшихся бровей, – писала она, – я придумывала его себе».

После реальной встречи у Нины осталось впечатление, что «господин Брюсов – человек очень сухой и надменно поджимает губы». Брюсов же намеренно не замечал Нину в тот вечер, двадцатилетнюю, в длинном чёрном платье, с четками в руках



Валерий Брюсов

и большим крестом на груди. Впрочем, такова была его обычная манера. Как правило, он был замкнут, не позволяя никому проникать в тайные духовные глубины его существа. «Он словно капля масла на воде – всё время ускользает», – определила потом Нина.

В следующий раз они увиделись в Художественном театре на премьере «Вишнёвого сада». Это было в самом начале 1904 года. «В эти январские дни, – вспоминала Нина, сковались крепкие звенья той цепи, что связала наши сердца».

По своему мистическому чувству Брюсов представлял собой полную противоположность Белому и тем пугал Нину поначалу. «Белый был из тех, кто чувствует, – вспоминал Ходасевич. – Брюсову важно было знать. Однажды при мне Нина спросила его: “Вы верите в существование миров иных?” – “Я не верю, я знаю”», – с гневом ответил Брюсов».

Брюсов не изучал мистическое влияние мира на себя, он сам пытался воздействовать на мир. Его учителем был Агриппа Неттесгеймский, средневековый алмихик, писатель, оккультист, врач, астролог, труды которого стояли на полке в кабинете Брюсова, и он изучал их на латыни. Когда для словаря Брокгауза и Эфрона потребовалась статья об Агриппе, без сомнения сразу обратились к Брюсову, так высок был его авторитет по этой части.

Брюсов на самом деле обладал мистическими способностями. Один из его знакомых вспоминал, как однажды шёл мимо сквера и вдруг почувствовал необходимость зайти. «Вхожу в аллею, – рассказывал он позднее, – а там – Брюсов. Сидит на скамейке и улыбается. Спрашивает: “Ну, что пришли?”».

«Брюсов на удивление материалистически относился к магии, – вспоминал Ходасевич. – Он был уверен, что со временем спиритические силы будут изучены и даже найдут практическое применение как, например, пар или электричество».

«На самом деле он не верил ни в духов ни в материю, – констатировал Белый. – Но имел огромное любопытство всё попробовать».

Между Белым и Брюсовым сразу возникло напряжение. Дело было не только в Нине, но и в ней тоже. Нина никак не мог-

ла забыть Андрея Белого, а внимание Брюсова использовала лишь для того, чтобы лишний раз поговорить о возлюбленном. Такое положение Брюсова не устраивало. Следуя правилу символистов не отделять жизнь от творчества, а также рассчитывая на мистическое воздействие мысли, в которое он верил, Брюсов начинает писать роман, в котором отражает все сложности отношений с Ниной, а также открыто выводит в отнюдь непривлекательном ракурсе своего главного соперника – Андрея Белого.

Роман «Огненный ангел» по праву считается одной из вершин творчества Брюсова. «Правдивая повесть, – как определял сам Брюсов, – в которой рассказывается о дьяволе, не раз являющемся в образе светлого духа девушке и соблазнившему её на греховные поступки».

Эту книгу Брюсов целиком посвятил Нине. «Чтобы написать Твой роман, – пишет он в письме, – довольно помнить Тебя, довольно верить Тебе, довольно любить Тебя. Любовь и творчество в прозе – для меня два новых мира, – признаётся он. – В одном ты увлекла меня далеко, в сказочные страны, в небывалые земли, куда проникают редко. Да будет также и в другом мире».

Действие романа Брюсов переносит в средневековую Германию, в Кёльн, во времена его кумира алхимика Агриппы Неттесгеймского. Главная героиня романа Рената, образ, в котором легко угадывается Нина Петровская, – это нервная, чувствительная натура, одержимая одновременно и ангелом и бесами. Брюсову легко было писать Ренату с Нины. Он нашёл в ней многое, что требовалось для романтического облика ведьмы. Отчаяние, мертвую тоску по фантастически-прекрасному прошлому, готовность швырнуть своё обесцененное существование в какой угодно костёр, какую-то мистическую оторванность от быта, от людей, почти ненависть к предметному миру, душевную бездомность, затаённую жажду гибели и смерти.

По сюжету любви Ренаты добиваются два претендента – рыцарь Рупрехт, представляющий тёмные силы, в образе которого Брюсов выводит себя, и «светлый» граф Генрих, то есть Андрей Белый. Рената любит Генриха (как и было на самом деле), а чувства Рупрехта она не замечает. Генрих бросает возлюбленную, и в отчаянии Рената просит своего верного друга Рупрехта ценой своей души узнать о Генрихе у потусторонних сил. Рупрехт исполняет желание возлюбленной, он вызывает демона, но не получает от него должного ответа. Тем временем в Кёльне, где живет Рената, снова объявляется граф Генрих. Он оскорбляет Ренату, и



Рупрехт вступает с ним в поединок. Этот поединок полностью отражает противостояние Брюсова и Белого не только в жизни, но и в литературе. Противостояние двух мировоззрений, двух противоборствующих духовных сил.

Отношения двух поэтов накаляются. Белый всерьёз воспринимает Брюсова как чёрного мага. Он пишет товарищу: «Происходит что-то невероятное. Я ощущаю его воздействие. У меня в квартире то и дело гаснет свет, раздаются какие-то стуки, шорохи, иногда даже выстрелы. С Брюсовым у нас установились холодные, жуткие отношения. Иногда мне кажется, я стою над бездной, дверь, отделяющая меня от преисподней, распахнулась, между мной и адом образовался коридор, и я вижу, кто-то движется по нему ко мне. Я чувствую, это враг. Враг – Брюсов! То, что происходит между нами – это мистический поединок, мистическое фехтование мыслями. Исступлённое нападение Брюсова на устои моего морального мира, я отвечаю на это перчаткой, брошенной ему. Мы словно вызываем друг друга на умственную дуэль, и, в конце концов, сразимся».

Противостояние двух поэтов невозможно было не заметить. Белый представлял силы света, Брюсов – весьма охотно силы тьмы, и они постоянно провоцировали друг друга. Если за столом Белый поднимал тост «За свет!», то тут же вставал Брюсов и возвещал: «Я пью за тьму». Они действительно чувствовали себя героями некоего мистического романа, некоего мистического противоборства, настолько напряжённого, яростного, что даже ночью, как признавался Брюсов, он не мог избавиться от этого противостояния, и ему приснился сон, в котором он сражался с Белым на шпагах. Затем он проснулся от резкой боли в груди, точно шпага противника пронзила его сердце.

В романе Брюсова Рупрехт погибает, сражённый копьем графа Генриха. Силы света, как и положено, одерживают верх. Но победа Рупрехта заключается в другом – его возлюбленная Рената, наконец-то, забыла графа Генриха и теперь её сердце принадлежит Рупрехту. Так произошло и в жизни. Отчаянное, яростное противостояние с Белым привело к тому, что Нина Петровская увлеклась Брюсовым, забыв прежнего кумира, о котором печалилась.

Для Брюсова чувство Нины стало откровением, изменившим его сознание. Он признавался, что влюбился «любовью, которая полностью перерождает человека». Он, вождь, маг, повелитель, вдруг ощутил потребность умиротворения, покоя, нежности. Это необычные переживания для Брюсова. Он был полон смирения.

«И между сосен тонкоствольных, /на фоне тайны голубой, /как зов от всех стремлений дольных, /залог признаний безглагольных, /возник твой облик надо мной».

«Вдруг пришла ты, что-то необычное, несбыточное, которое только ощущаешь, боишься спугнуть. Пришла любовь, о которой я только писал в стихах, о которой читал в книгах. У меня открылись глаза, исполнилась огненная мечта. Никогда не переживал я таких страстей, таких мучительств, таких радостей».

Сама Нина настолько вошла в образ героини романа, что даже заявляла, что хочет умереть, чтобы Брюсов списал с неё смерть Ренаты, и она сама стала бы «моделью для последней прекрасной главы».

Летом 1905 года они свершили поездку в Финляндию, на озеро Сайма, где испытали дни сбывшегося счастья. «То была вершина моей жизни, – признавался Брюсов в письме к Нине, – её высший пик, с которого мне, как некогда Писсаро, открылись оба океана – моей прошлой и моей будущей жизни. Ты вознесла меня к зениту моего неба. И ты дала мне увидеть последние глубины, последние тайны моей души. Всё, что было в горниле моей души буйством, безумием, отчаянием, перегорело и словно в золотой слиток, вылилось в любовь, единую, беспредельную – навеки».

Однако на этой заоблачной высоте чувств они не удержались. Неуравновешенный характер Нины быстро дал себя знать. Вступил в действие главный принцип, точно подмеченный Ходасевичем – «всё или ничего». Нина любила с одержимостью, самозабвенно, требуя и от возлюбленного полной отдачи. Максималистка во всём, она хотела, чтобы он весь, безраздельно принадлежал только ей. Брюсов же и не думал рвать семейных уз и убеждал Нину, что единственная его владычица вовсе не жена, а поэзия.

«Я живу – поскольку во мне живёт она, и когда она во мне погаснет, я умру, – писал он Нине. – Во имя поэзии я, не задумываясь, принесу в жертву всё – своё счастье, свою любовь, самого себя». Вот этой последней фразы Нина никогда не могла ему простить – она вонзилась в её сердце, точно отравленная игла. Теперь Нина мучилась ревностью уже не к Иоанне Матвеевне, она ревновала возлюбленного к творчеству и сознание своего бессилия что-то изменить приводило её в бешенство. Она не понимала, как можно, если боготворишь женщину, признаёшься, что любишь её, поклоняться ещё какому-то иному божеству.

Брюсов и сам порой тяготился своей подчинённостью иной всепоглощающей страсти, писал о желании переродиться, вос-

креснуть иным. «Милая моя девочка, брось меня, если я не смогу стать иным, если останусь тенью себя прошлого», – отчаянно просил в письмах.

Однако его любовь к Нине постепенно затухала, это становилось всё очевиднее. Он опасался резкого разрыва, зная болезненную душевную взвинченность Нины, её готовность пойти на всё, вплоть до самоубийства.

Нина чувствовала охлаждение, её пугала безысходность, и она совершила ошибку, прибегнув к ревности, как средству спасения. Она начала кокетничать с завсегдатаями литературных салонов, молодыми начинающими авторами, на глазах Брюсова целовалась с ними, словно «пугая» его их молодостью. Они уводили её из душных гостиных в ночь. Брюсов молчал. Внешне он не среагировал ни разу, и это злило Нину. Ей захотелось, чтобы ему рассказали об её измене. Вначале она изменяла не всерьёз, дразнила, потом изменила по-настоящему – раз, другой, третий... Брюсов отвернулся, стал холодным, чужим. Нина и сама не заметила, как всё это случилось.

Тяжесть разрыва потрясла её. Мысли о самоубийстве преследовали, и, чтобы бежать от них, она прибегла к морфию. Вино и наркотики подорвали её здоровье, а врачи чудом вернули с того света. Когда здоровье улучшилось, Нина поняла, что больше не может оставаться в России. Она решила уехать – бесповоротно, навсегда. Брюсов не удержал её, как она надеялась. Напротив, пришел проводить. Перед отходом поезда, холодным ноябрьским днем, как вспоминал Ходасевич, в купе пили коньяк, «национальный» напиток символистов, Нина плакала.

Нина отправилась в Италию. Затем переехала во Францию. Из-за границы она продолжала писать Брюсову экзальтированные письма, подписанные вычурно: «Та, которая прежде была твоей Ренатой». Она посетила Кёльн, где происходили события романа «Огненный ангел», упав ниц, распростёрлась на плитах кёльнского собора, «как та Рената, которую ты создал, а потом забыл и разлюбил», – описывала она Брюсову.

В 1913 году, находясь в состоянии жесточайшей депрессии, она выбросилась из окна гостиницы на бульваре Сен-Мишель. Её спасли, Нина осталась жива, но сломала ногу и стала хромой. Доходов у неё не было, только крохотные заработки переводами. Жила в дешёвых гостиницах в нищете. Убогая жизнь заброшенной на чужбине, одинокой женщины, издёрганной от несчастий. От отчаяния она перешла в католичество, приняв имя Рената.

За границей Нина скиталась из Рима в Варшаву, потом обратно, страдала тяжёлым нервным расстройством, почти умирала с дешёвой клинике для калеков, принимала наркотики, злоупотребляла алкоголем. «Душа у неё больная и печальная, – рассказывал знакомым бывший муж Нины, случайно повстречавшись с ней. – Но она уверяла меня, что теперь совершенно излечилась от Брюсова, что у него дьявольская душа, но её ему теперь не достать, и пусть мучаются другие».

Первая мировая война застала Нину в Риме, там она прожила до 1922 года, в ужасной нищете. Побиралась, просила милостыню, шила бельё для солдат, писала сценарии для кинематографа. Опять голодала. «Он сгубил меня», – признавалась она Ходасевичу о Брюсове.

«Жизнь Нины была лирической импровизацией, – размышлял сам Ходасевич в «Некрополе», – и только применяясь к таким же импровизациям других персонажей, ей удавалось создать нечто целостное, “поэму своей личности”». Конец личности, как и конец поэмы о ней – смерть. В сущности, поэма была закончена в 1906 году, в том самом, когда был закончен «Огненный ангел». С тех пор и в Москве, и в заграничных странствиях Нины длился мучительный, страшный, но ненужный, лишённый движения эпилог.

Европу сотрясали революции, в России шла Гражданская война. Нина ещё пыталась бороться. Она обратилась за помощью к Максиму Горькому, он не остался глух к её просьбе, рекомендовал как хорошую переводчицу с итальянского, и тем спас от голодной смерти. Ходасевич находил для неё заказы и рекомендовал своим знакомым, чтобы она как-то сводила концы с концами. К пятидесятилетию Брюсова её попросили написать о нём статью, и она блеснула, сумев переступить через обиду и горечь.

Однако силы её иссякли, здоровье было подорвано наркотиками и алкоголем, желание жить и бороться за жизнь исчезло. Ветренным февральским днем 1928 года, находясь в Париже, Нина Петровская открыла газовый кран в номере гостиницы, где жила. Наступил страшный, мучительный момент смерти – длительный эпилог, о котором писал Ходасевич, наконец, завершился. «Я искупаю смертью всю свою жизнь, – написала Нина в предсмертной записке. И последнее, обращённое к Брюсову, уже тоже ушедшему к тому моменту: «Я всё тебе прощаю. Я иду за тобой».

«Кончилась подлинно страдальческая жизнь, – говорилось в некрологе, опубликованном в газетах. – И эта жизнь – одна из самых тяжёлых драм русской эмиграции. Полное одиночество, безвыход-

ная нужда, нищенское существование». Рената ушла в небытие, и её трагический образ остался в посвящённых ей стихах Брюсова. «Мой дар святой, мой дар поэта, тебя он выше всех вознёс».

А что же сам Брюсов? Несмотря на внешнюю сдержанность, он был потрясён отъездом Нины. Понимая, что возврата к прошлому нет, что больше никогда он не увидит милых, дорогих сердцу глаз, он смертельно тосковал и пристрастился к морфию. «Однажды мне случилось заглянуть в пустой ящик его стола, – вспоминал Ходасевич. – Я нашёл там иглу от шприца и обрывок газеты с кровавыми пятнами».

Разрыв с Ниной Петровской получил в московских богемных кругах большой резонанс. Недоброжелатели открыто называли Брюсова вампиром. Рассказывали, что «после того, как они на пару с Андреем Белым высосали Нину Петровскую, мэтр приметил для себя другую жертву».

В поистине вампирическом бездушии к людям, жажде погреблять чужие жизни Брюсова упрекали не только враги, которых было немало, но и в целом расположенные к нему соратники по перу. «Ничто не могло изменить его натуры, – писал Ходасевич в воспоминаниях. – Всё было для него полем для творчества, полем для игры. Исчерпав сюжет и в житейском, и в литературном смысле, он спешил отстраниться, вернуться к домашнему очагу, к пухлым, румяным, приготовленным заботливой рукой Иоанны Матвеевны пирогам с морковью, до которых был великий охотник. Желание порвать и забыть навсегда он высказывал нарочито, нагло».

Сюжет с Ниной Петровской был исчерпан. И Брюсов больше не интересовался им. Ходасевич вспоминал, что в день проводов Нины на вокзале были именины какой-то тётки Брюсова. И только что проливавший слёзы об отъезде возлюбленной поэт, как ни в чём не бывало отправился на праздник и чувствовал там себя вполне комфортно. А на осуждающий взгляд Ходасевича только заметил с притворным равнодушием: «А что собственно ещё вы прикажете мне делать?»

Вообще, история с Ниной Петровской выявила для многих в окружении Брюсова такие его черты, которые прежде не бросались в глаза. «Я понял, – писал Ходасевич, – что он не любил людей вообще, не уважал их. Недаром Борис Садовский, человек умный и добрый по натуре, возмущался любовной лирикой Брюсова, называя её «постельной поэзией». Трагизм в эротике Брюсова безусловно присутствовал, но не онтологический, как хотелось

думать автору, а психологический. Не любя людей вообще, он ни разу не полюбил ни одной из тех, с кем случилось ему «припадать на ложе». Все женщины брюсовских стихов похожи одна на другую, как две капли воды. Это потому, что все они были для него на одно лицо. Ни одной он не отличил, не узнал, не полюбил.

«Мы, как священнослужители, творим обряд» – страшные слова. Он чтит любовь, как обряд, который совершенно безразлично, с кем совершать. «Жрица любви» – вот излюбленное слово Брюсова по отношению к даме сердца. Но ведь лицо у жрицы закрыто, человеческого лица у неё нет. Одну жрицу можно заменить другой – «обряд» останется тот же. «Не спору, – замечает Ходасевич с горечью в заключение, – что и сам Брюсов ужасался этой своей неспособностью распознать в «жрицах» человека, и потому писал: «Я, дрожа, сжимаю труп!». Главным в жизни для него на самом деле оставалась литература. Воистину он свято исполнил заветы, данные самому себе в годы юношества: «не люби, не сочувствуй, сам лишь себя обожай беспредельно, поклоняйся искусству, только ему, поклоняйся себе в искусстве».

Это бесцельное искусство, точнее те две строчки бессмертия, которые, как он мечтал, останутся о нём в истории литературы рядом с Пушкиным, стало для него идолом, которому он принёс в жертву несколько живых людей, и надо признать, самого себя. «Нерукотворного памятника» как русский гений Брюсов не желал. Он желал, чтобы дети плакали и боялись не выучить Брюсова в учебнике, чтобы их били за то, что они не выучили, а также совсем был не против бронзового истукана с его лицом на Цветном бульваре. Учебник литературы, где все будут изучать его творчество, памятник не в сердцах, а материальный, из металла – вот что было для него значимо, а не чувства Нины или кого-то ещё».

Ничего этого не знала, конечно, молодая поэтесса Надежда Львова, провинциальная девушка, дочь мелкого чиновника, когда оказалась в московском литературном кругу, где, безусловно, верховодил Брюсов.

«Управляя многими явными и тайными нитями, – писал Ходасевич, – он чувствовал себя капитаном корабля и дело своё делал с великой бдительностью. Он имел природную склонность к властвованию, кроме того, осознавал свою даже преувеличенную ответственность за судьбу судна. Если экипаж начинал бунтовать, Брюсов усмирлял его властным окриком. Если же ему приходилось идти на уступки, он путём интриг всё-таки добивался своей цели, от этого его самодержавие только укреплялось».



Надежда Львова

Брюсову было чуждо чувство равенства. Он умел только или командовать или подчиняться. Эти манеры заносились «прямо из его дома с Цветного бульвара, — отмечал Ходасевич. — Мещанин легче гнёт спину, чем аристократ или рабочий. Зато и желание унижить другого обуревает его также сильно».

«Всяк сверчок знай свой шесток», «чин чина почитай» — идеи, которые нравились далеко не всем в московской богеме. Но всякий, кто проявлял независимость, немедленно обретал в лице Брюсова врага. Молодой поэт, который не принёс Брюсову свои стихи, чтобы тот оценил их, мог быть уверен, что «мэтр» его не простит. Яркий пример тому — Ма-

рина Цветаева, с которой они разошлись сразу и бесповоротно.

Любое издательство или журнал, который создавался без участия Брюсова или без его согласия тут же подвергался нападкам с его стороны, и «придворным» запрещалось участвовать в новом предприятии. «Придворных» у Брюсова набиралось немало. «Власть нуждается в декорациях, — писал Ходасевич, — она же родит прислужничество».

Брюсов старался окружить себя раболепством. Его появления всегда были обставлены театрально. Он никогда не отвечал на приглашение ни да, ни нет, предоставляя ждать и надеяться. В назначенный час никогда не появлялся. Как предвестники появления «мэтра» сначала приходили «люди свиты». Когда же мэтр появлялся, никто с ним первым не заговаривал — все ждали, когда он сам обратится и только отвечали, — так было заведено.

В день, когда Надежда Львова, впервые увидела Брюсова, как вспоминал Ходасевич, мэтра ждали долго, шёпотом гадали — придёт или нет. А перед самым приходом внезапно погас свет, и всё погрузилось во мрак. Все начали перешептываться — знак. Когда свет загорелся, мэтр был уже в комнате. Он поздоровался за руку со знакомыми. «У него была странная манера подавать руку, — вспоминал Ходасевич. — Когда Брюсов протягивал человеку руку, тот в ответ протягивал свою, а Брюсов отдергивал, собирал пальцы в кулак, кулак прижимал к правому плечу, а сам, чуть скаля зубы, впивался глазами в повисшую в воздухе руку знакомого.

Он словно испытывал его, вызывал чувство неловкости. А потом рука Брюсова так же стремительно опускалась и хватала протянутую руку. Особенно часто Брюсов пользовался этим приёмом, знакомясь с начинающими стихотворцами, с новичками в литературных кругах, сразу приводя их в замешательство. В нём вообще странно сочетались изысканная вежливость, формальная по большей части, и любовь к одёргиванию, запугиванию, обуздыванию. Те, кому это не нравилось, отходили в сторону, другие спешили составить свиту».

Наденьке Львовой не пришлось ждать от Брюсова рукопожатия, он лишь едва кивнул головой, когда её представили. Как водится, она «поднесла» ему свои стихи. Он принял их с той своеобразной, памятной многим ласково-злой улыбкой, которая по замечанию Ходасевича, часто блуждала на его губах. И сразу заметил, конечно – перед ним тот же тип женщины, что и Нина, а значит, он сможет иметь над ней власть, все приёмы ему известны. Но сперва и виду не подал, что заинтересовался девушкой.

Как и Нина Петровская, Надя была не хороша, не дурна собой, и очень в себе не уверена. Родители её жили в Серпухове, отец был мелким служащим. Сама Надя училась в Москве на курсах Полторацкой. Также, как и Нина, она боготворила Брюсова, знала наизусть множество его стихотворений. Поэтическое дарование её было «зелено», по оценке Ходасевича, но в отличие от Нины, она имела задатки. И, как позднее высказалась А.А. Ахматова: «Вполне могла при должном развитии занять достойное место в поэзии. Её стихи, пока неумелые, но трогательные, не достигали той степени просветлённости, когда они могли бы быть близки каждому, но им просто верили, как верят человеку, который плачет».

«Умная, простая, душевная девушка, с гладко зачёсанными русыми волосами, – вспоминал Ходасевич, – мы сразу с ней сдружились. Она сильно сутулилась, страдала маленьким недостатком речи, в начале слов не выговаривала букву “к”. Говорила “ак”, вместо “как”. Она была намного младше Брюсова, на восемнадцать лет, и совершенно подавлена, парализована им».

После отъезда Нины отношения Брюсова и Ходасевича стали холодны, и Надя пыталась примирить их, ничего не зная о причине. Также, как и с Ниной, Брюсов повёз Надю в Финляндию, писал ей сонеты, начал «конфузливо» молодиться, искал общества молодых поэтов. Даже издал сборник стихов, посвящённых «Нелли», так он без посторонних называл Надю. И также, как с Ниной, после возвращения из Финляндии, книжки сонетов и жар-



ких признаний началось охлаждение. Надя искала встреч, ожидала продолжения романа, а Брюсов, насытившись впечатлениями, «подался к дому, к пирогам Иоанны Матвеевны» и успокоился.

Надя была потрясена. Она писала Брюсову: «Как и Вы, в любви я хочу быть “первой” и единственной. А Вы хотели, чтобы я была одной из многих? Вы экспериментировали со мной, рассчитывали каждый шаг. Вы совсем не хотите видеть, что перед Вами не женщина, для которой любовь – спорт, а девочка, для которой она всё».

Она никак не желала смириться с раздвоением Брюсова. Стала очень грустной, перестала писать. Брюсов же, давно приучавший Надю к мыслям о смерти, словно случайно преподнёс ей опасный подарок – браунинг Нины Петровской, из которого та в припадке ревности когда-то стреляла в Андрея Белого.

«Все понимали, он подталкивает Надю к смерти, она уже не нужна, она мешает», – писал позднее Ходасевич. – «Понимали, но ничего не сделали, чтобы её спасти, свита боялась промолвить и слово».

В злосчастном ноябре 1913 года, 23-го числа, как вспоминал Ходасевич, случилось всё, что желал Брюсов. В полном одиночестве, брошенная всеми и даже осуждаемая, Надя позвонила по телефону Брюсову, просила его приехать. Он отказался, сославшись на занятость. «Потом как говорили, она позвонила поэту Вадиму Шершеневичу, – вспоминал Ходасевич. – Очень тоскливо, сказала она, пойдёмте в кинематограф. Но Шершеневич не мог пойти – у него были гости. Часов в одиннадцать вечера позвонила ко мне. Меня не было дома. Не могу себе простить. Поздним вечером она застрелилась из пистолета Нины. Мне сообщили об этом под утро».

В дом, где погибла Надежда Львова, сразу приехала полиция, – вызвал сосед, услышавший выстрел. Застали ещё живой, но помочь уже не смогли. Рядом с телом нашли предсмертное письмо, адресованное Брюсову. Брюсов письма не взял, распорядился, чтобы оно так и осталось у полицейских.

«У меня уже нет сил смеяться и говорить тебе без конца, что я тебя люблю, – писала Надя дрожащей рукой, – что тебе со мной будет совсем хорошо, что не хочу я “перешагнуть” через эти дни, о которых ты пишешь, что хочу я быть с тобой. Как хочешь, “знакомой, другом, любовницей, слугой”. Какие страшные слова ты нашёл. Люблю тебя – и кем хочешь, – тем и буду. Но не буду “ничем”, не хочу и не могу быть. Ну, дай же мне руку, ответь мне скорее. Я всё-таки долго ждать не могу. Ты не пугайся, это не угроза. Это просто правда. Дай мне руку, будь со мной, если успеешь

прийти, приходи ко мне. А мою любовь и мою жизнь взять ты должен. Неужели ты не чувствуешь этого? В последний раз умоляю, если успеешь, приходи. Н.»

Но Брюсов не пришёл. Узнав о гибели Нади, он сразу сбежал из Москвы – испугался. Уехал в Петербург, затем в Ригу в какой-то санаторий. Его жена хлопотала о том, чтобы история не получила ненужной огласки. Она попросила Ходасевича помочь ей. «Ради того, чтобы репортёры не трепали имя Нади, я согласился, – признавался тот. – Остальное было мне противно».

Похоронили Наденьку Львову на Миусском кладбище «в холодный метельный день». Из Серпухова приехали родители, они стояли у открытой могилы, рука об руку, «старые, – как пишет Ходасевич, – маленькие, коренастые. Он – в поношенной шинели с зелёными кантами, она – в старенькой шубе и в приплюснутой шляпке. Никто с ними не был знаком. Когда могилу засыпали, они, как были, под руку, стали обходить собравшихся. С напускной бодростью, что-то шепча трясущимися губами, пожимали руку, благодарили. За что? Частица соучастия в брюсовском преступлении лежала на многих из нас, всё видевших, но ничего не сделавших, чтобы спасти Надю. Несчастные старики этого не знали. Когда они приблизились ко мне, я отошёл в сторону, не смея взглянуть им в глаза, не имея права утешать их».

Надя ушла, на её могиле была выбита строка из Данте: «Любовь, которая ведёт нас к смерти». Брюсов же в санатории увлёкся новой пассией, залечил душевную рану и, вернувшись в Москву, на первом же собрании прочёл новые стихи, посвящённые новой, состоявшейся в санатории «встрече». Начиналось стихотворение декларацией: «Мёртвый, в гробе мирно спи, жизнью пользуйся, живущий...»

Все понимали, о чём идет речь, но встать и уйти хватило духа только у Ходасевича. «На меня зашикали, – вспоминал он, – требовали, чтобы я не мешал слушать, не мешал их удовольствию. В тот день я пожалел, что помогал его жене и хлопотал по Надиному делу».

Как бы то ни было, но две личные трагедии привели Брюсова к глубокому духовному и творческому кризису. Начиная с 1913 года, его сборники оценивались критикой как слабые, отзывы отмечали у автора самоповторения, срывы поэтической техники и вкуса, гиперболизированные самовосхваления. Некоторые из осмелевших прежних поклонников приходили даже к выводу об исчерпанности брюсовского таланта.

Первая мировая война позволила взять небольшой перерыв – Брюсов стал военным корреспондентом издания «Русские ведомости» и отправился в действующую армию.

Он приветствует революцию в надежде, что она даст новый импульс его творческому развитию. В отличие от многих своих соратников по перу, видных деятелей декадентства, Брюсов полностью принимает власть большевиков и сразу начинает заботиться о том, как занять в новой иерархии видное место.

«Почему он стал коммунистом? – задавался вопросом в воспоминаниях Ходасевич. – Точно не знаю. Во время русско-японской воны он разделял идеи самого вульгарного черносотенства. Вёл бесконечные разговоры о масонских заговорах и японских деньгах. Социалистов вначале не любил. Марксизм, говорил он, это грабь, что можно, и общность мужей и жён. Однако с приходом большевиков к власти сразу изменил мнение».

В большевистской власти, по мнению Ходасевича, Брюсов увидел многое, что отвечало его глубинным жизненным устоям. «Он страстно любил заседать, – пишет Ходасевич, – даже как-то неестественно, в особенности – председательствовать. Заседая – священнодействовал. Резолюция, поправка, устав, параграф, пункт – эти слова не жили его слух. Открывать заседание, закрывать заседание, предоставлять слово, лишать слова “дискреционную властью председателя”, звонить в колокольчик, интимно склоняться к секретарю, прося “занести в протокол” – всё это было для него наслаждение, “театр для самого себя”, предвкушение грядущих двух строк в истории литературы. В эпоху 1907–1914 годов он заседал по три раза в день, где надо и где не надо. Заседаниям жертвовал совестью, друзьями, женщинами, – замечает Ходасевич, – его всегда манила власть над людьми, любая, она не давала ему покоя». Ну, а кто председательствовал больше, чем большевики, по каждому поводу проводившие голосование и составлявшие бесконечные протоколы?

Демократия, как таковая, была совершенно чуждым Брюсову общественным устройством, он совершенно не видел своего места в ней. По убеждениям он был абсолютист. «История культуры, которой он поклонялся, была для него историей “творцов”, полубогов, стоящих вне толпы, над толпой, презирающих её, ею ненавидимых. Всякая демократическая власть казалась ему либо утопией, либо охлократией, господством черни, – пишет Ходасевич. – Тогда как абсолютизм представлялся силой созидательной, охраняющей и творящей культуру. Следовательно, поэт, по его

убеждению, всегда должен быть на стороне существующей власти, какова бы она ни была, лишь бы быть отделённым от народа, подальше от него. Его любимая мысль состояла в том, что все поэты были придворными. При Августе, Меценате, при Людовиках, при Фридрихе, Екатерине, Николае Первом».

Пока монархия держалась, Брюсов был монархистом, вспоминает Ходасевич, потом надеялся, что Временное правительство «обуздает низы» и покажет себя «твёрдою властью». Он всё время заседал в каких-то комиссиях, поддерживал принципы оборончества, издал даже брошюру в «розовой обложке» под заглавием «Как кончить войну?», где выражал идею «войны до победного конца».

После большевистского переворота сначала впал в отчаяние. Одна дама, знакомая Ходасевича, много лет начинавшая любой разговор словами: «Валерий Яковлевич говорит, что...» сообщила ему в ноябре 1917 года, что на этот раз «Валерий Яковлевич предсказывает полный крах. Он оплакивает гибель культуры».

«Только летом 1918 года после разгона учредительного собрания и начала террора Брюсов приободрился и заявил себя коммунистом». Террор однозначно показал Брюсову, что пришёл новый единоличный властитель – партия ВКПб<sup>1</sup> во главе с Лениным, «сильная власть», один из видов абсолютизма, а значит надо спешить занять своё место, чтобы над тобой был вождь, которому поклоняться, а под тобой подчинённые, чтобы руководить. Зов «природного инстинкта стайности», свойственный социальным слоям, из которых Брюсов происходил, так считал Ходасевич.

«Он поклонился большевикам, так как считал их власть достаточной защитой от демоса, низов, черни, которой боялся. Ему ничего не стоило объявить себя марксистом. Не всё ли равно, ради чего, – была бы только власть. В коммунизме он поклонился новому самодержавию, которое было для него лучше старого, хотя бы потому, что переехало в Москву, и Кремль стал для него доступнее, чем монархическое Царское Село».

Кроме того, Брюсов понял, в отличие от царской власти, у которой не было никакой официально покровительствуемой эстетической политики, большевики сразу же взяли «направлять» литературу административными методами, и это предоставляло Брюсову в случае союза с ними возможность неограниченно влиять на все литературные дела.

---

<sup>1</sup> В 1918–1925 гг. партия называлась Российская коммунистическая партия (большевиков) – РКПб, ВКПб – Всесоюзной коммунистической партией (большевиков) она была с 1925 по 1952 гг. *Прим. ред.*

«Он мог бы командовать писателями совершенно свободно, без интриг, без вынужденных союзов с ними – одним окриком. А сколько заседаний, уставов, постановлений, исключений! И сколько надежд на то, что в учебнике литературы будет сказано “в таком-то году полностью развернул русскую литературу на столько-то градусов”. Тут личные интересы вполне совпадали с идеями».

С 1917 по 1919 год Валерий Брюсов очень активен, у него словно открывается второе дыхание. Он работает в различных большевистских учреждениях. Возглавляет Комитет по регистрации печати (с января 1918 года – Московское отделение Российской книжной палаты). Заведует Московским библиотечным отделом при Наркомпросе, является председателем Президиума Всероссийского союза поэтов, руководит поэтическими вечерами различных групп московских поэтов в Политехническом музее. В 1919 году вступает в РКПб. Работает в Государственном издательстве, заведует литературным подотделом Отдела художественного образования при Наркомпросе, становится членом Государственного учёного совета, с 1921 года – профессором МГУ, с конца 1922 года – заведующим Отделом художественного образования Главпрофобра. В 1921 году организует Высший литературно-художественный институт и до конца жизни остаётся его ректором и профессором. Его выдвигают в Моссовет, он активно участвует в подготовке издания Большой советской энциклопедии, редактируя отдел литературы, искусства и языкознания.

От писательской среды Брюсов в это время отмежевался даже резче, чем она отмежевалась от него. Служил, как пишет Ходасевич, с волевой исправностью, которая всегда была свойственна его работе, изо всех сил «заседал» и «заведовал». Ревность к службе доходила даже до того, что он не щадил прежних соратников, в общем, это никого особенно не удивляло. Не чурался писать доносы. «Помню, в марте 1920 года я заболел от недоедания и от жизни в нетопленном подвале, – вспоминает Ходасевич. – Прохворал всё лето, в конце ноября решил переехать в Петербург, где мне обещали сухую комнату. В Петербурге я снова пролежал с месяц, есть было нечего, и я начал хлопотать о переводе моего писательского пайка из Москвы. Я прохлопотал месяца три, и всё время наткнулся на какое-то незримое препятствие. Только спустя два года я узнал от Горького, что препятствием была некая бумага, лежавшая в петербургском академическом центре. В этой бумаге Брюсов конфиденциально сообщал, что я человек неблагонад-

ёжный. Не забыл всех наших с ним прежних препирательств. Он никогда не забывал».

Увы, и самого Брюсова ожидало разочарование. Его мечта полностью подчинить себе литературу не осуществилась. Большевики не желали делиться властью с «попутчиками», как они выражались, и предпочли оставить диктатуру за собой. Брюсов оставался для них чужим, они не верили ему, лишь предоставили несколько «постов», в сущности, не особенно важных. При случае обязательно попрекали принадлежностью к буржуазной среде и неправильным классовым происхождением.

Стихи Брюсова, написанные вроде бы в советском духе, большевистским лидерам не нравились, так как для агитации не годились. Восторженными гимнами «ослепительному Октябрю» он славил революцию к очередной годовщине наряду с марксистскими поэтами. Превозносил Ильича, стал родоначальником поэтической Ленинианы, забыв о собственном завете 1896 года: «не живи настоящим, поклоняйся искусству». Но, даже работая на заказ, Брюсов не мог переломить себя полностью, и, пытаясь уйти от старой гармонии и «обрести звуки новые», как ему казалось, писал «переуточенно» до одервенения.

Перегруженный ударениями ритм, обильные аллитерации, рваный синтаксис, неологизмы, перенасыщенность социальными мотивами, пафос научности, обилие экзотических терминов и имён собственных с развёрнутыми авторскими комментариями – всем этим изрядно грешил Брюсов в стихах советского периода. В результате – по выражению Ходасевича – «получалась суцая какофония», стих трудно усваивался, а значит, совершенно не подходил для примитивного понимания «широких масс», на которые рассчитывали большевики. «Академический авангардизм», так назвал манеру позднего Брюсова исследователь М.Л. Гаспаров, детально исследовавший его творчество. Для примитивного советского использования – не годится.

Практически уже к 1923 году Брюсов стал большевикам не нужен. Его поэтические опыты были сочтены слишком сложными, его фактически отстранили от литературного процесса. Однако пилюлю подсластили. В связи с пятидесятилетним юбилеем Брюсов получил грамоту от Советского правительства, в которой отмечались многочисленные заслуги поэта «перед страной», выражалась «горячая рабоче-крестьянская благодарность».

Разочарование, вероятно, осознание своего заблуждения и невозможности вернуться к прошлому, а также пристрастие к нар-

котикам, – после революции Брюсов перешел с морфия на героин, – всё способствовало тому, что здоровье его окончательно пошатнулось.

«В последние годы он часто хворал, – пишет Ходасевич, – сказывалась интоксикация. К тому же был одинок, угнетён, мрачен». Крупозное воспаление лёгких развивалось быстро, подорванный организм практически не боролся с болезнью. 9 октября 1924 года Валерий Брюсов скончался в своей московской квартире, немного не дожив до пятидесяти одного года.

«Когда я прочитал известие о его смерти, – сообщает Ходасевич, – я подумал, что он покончил с собой. Всё к тому шло, и наверное, так и было бы, если бы смерть сама не предупредила того».

Похороны на Новодевичьем кладбище были по-советски торжественными, но и по-советски же холодными, формальными, с обилием красных флагов и горячих речей, не имеющих к личности Брюсова и его творческому пути никакого отношения.

«Поэт мрамора и бронзы», как называл Брюсова Андрей Белый, «поэт торжественности» по мнению С.А. Венгерова, «молодобоец и ювелир в одном лице», как считал Л. Каменев, упокоился под каменной плитой, «превратившись в две строчки в учебнике литературы», к чему он так стремился всю жизнь.

Но оказалось, это не всё. Было что-то упущенное, что-то главное, что ушло, так и не случилось, он осознал это, «когда жизнь почти закончилась». В последние годы жизни, как пишет Ходасевич, Брюсов взял в дом на воспитание маленького мальчика, племянника жены. Он сосредоточил на нём всё своё внимание, всё тепло сердца. Возвращался домой, нагруженный подарками, сластями, всячески баловал воспитанника. Расстилал ковёр на полу и погружался в детскую игру, отгораживаясь от мира. Он искал простой человеческой радости, заботы, ответной любви, о которой когда-то так молила его в письмах Нина Петровская, и в которой он ей отказал, отказал Надежде Львовой, отказал многим прочим, ради двух заветных строчек в истории. Теперь он сам отчаянно нуждался в том же. Но попросить было некого. Вокруг не было никого, кто мог бы ему дать, что он желал, кроме одного маленького мальчика, его последней отеческой любви.